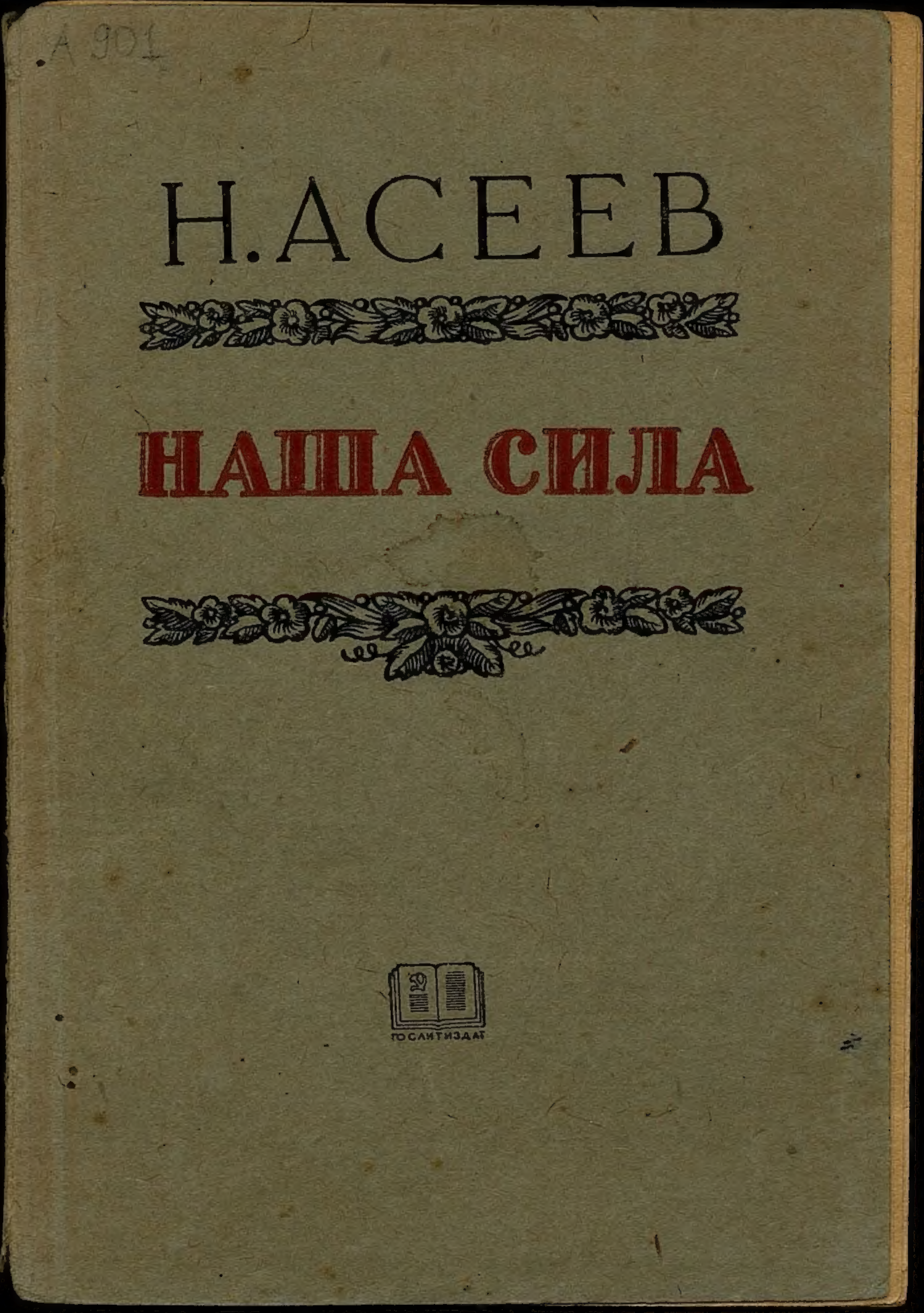

А 901

Н. АСЕЕВ

НАША СИЛА

ГОСЛИТИЗДАТ

1248538

40 =
орс

Н. АСЕЕВ

НАША СИЛА

ИЗБРАННЫЕ
СТИХИ

1914—1938

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА“
МОСКВА 1939

Ш6
А 901

1248538

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Уральского Госуниверситета
г. Екатеринбург

В настоящей книге собрано, на мой взгляд, лучшее из того, что мной было написано за годы работы. Не знаю, справедлива ли оценка стихов с точки зрения автора,— со стороны виднее; во всяком случае, здесь отобрано то, что считаю наиболее близким и характерным для моего авторского лица. Далее, годы работы над стихом приучили меня проверять его прочность и силу не только на личный вкус, но и на отзыв на него слушателя, читателя — аудитории. В этом и смысл заглавия книги, которая является определением не личной моей силы как поэта, но общей нашей оценки восприятия меня и моего читателя. Поэтому здесь собраны стихи разных лет, с самого начала моей работы, не в порядке их написания, а во взаимной их связи, по общим признакам — моей искренности и одобрения их читателем.

Николай Асеев.

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЯ

За то,
что наша сила
была,
как жизнь, простой,
что наша песнь
косила
молчанье
и застой.
За то,
что даль клубила
в нас
помыслы—мечтой,
нас молодость
любила.
За что,
за что,
за что!
О, серо-розоватый
рассветный час,
навек, навек
сосватай
с весною нас!
Навек, навек
сосватай,
соедини
с березою
и мятой
стальные дни!

Что —
свежестью первичной
мы шли обнесены,
что
не было привычной
нам меры
и цены.
За крепость
и за смелость
в тревожные года,
за то,
что громко пелось
всегда,
всегда,
всегда!
За то,
что мы, от робких
пути поотрезав,
ловили
в дальних сопках
напевы партизан.
За то, что
мы не крылись,
меняя имена,
когда
плыла у крылец —
война,
война,
война!
О, серо-розоватый
вечерний час,
навек,
навек сосватай
с весною нас!

Навек, навек
сосватай—
соедини —
со свежестью
несмятой
стальные дни!

1926

ПЕСНЯ СОТЕН

Тулумбасы, бей, бей,
Запороги, гей, гей!
Запороги-вороги —
Головы не дороги!

Доломаны—быстрь, быстрь,
Похолоним Истрь, Истрь!
Харалужье паново
Переметим наново.

Чубовье раскрутим,
Разовьем хоругвь путем,
А тугую сутемь
Раньше света разметем!

То ли не утеха ли
Соловейко-солоду,
То ли не порада ли
Соловейко-солоду, —

По грудям их ехали,
По живому золоту,
Ехали, не падали,
По глухому золоту.

Соловее, вей, вей,
Запороги, гей, гей!
Запороги-вороги—
Головы не дороги!

1914

ВЕНГЕРСКАЯ ПЕСНЬ

Простоволосые ивы
Бросили руки в ручьи.
Чайки кричали: «Чьи вы?»
Мы отвечали: «Ничьи!»

Бьются Перун и Один,
В прасини захрипев;
Мы ж не имеем родин
Чайкам сложить припев.

Так развевайся над прочими,
Ветер, суровый утонченник,
Ты, развевающий клочьями
Сотни любовей оконченных.

Но не умрут глаза:
Мир им видели дважды мы.
Крикнуть сумеют: назад!
Смерти приспешнику каждому.

Там, где увяли ивы,
Где остывают ручьи,
Чаек, кричащих «чьи вы?»,
Мы обратим в ничьих.

1914

* * *

За отряд улетевших уток,
За сквозной поход облаков
Мне хотелось отдать кому-то
Золотые глаза веков.

Так сжимались поля, убегая,
Словно осенью старые змеи.
Так за синюю полу гая
Ты схватилась, от дали немея,

Что мне стало совсем не страшно:
Ведь какие слова ни выстрой,
Все равно стоять в рукопашной
За тебя с пролетающей быстрью;

А крылами взмахнувших уток
Мне прикрыла лишь осень очи,
Но тебя и слепой зову так,—
Что изодрано небо в клочья.

1915

* * *

Ушла от меня, убежала,—
Не надо, не надо мне клятв;
У пчел обрываются жала,
Когда их тревожат и злят!

Но эти стихи я начал,
Чтоб только любить иначе,
И злобой своей не очень
По ним разгуляется осень.

1913

ИГРА

За картой убившие карту,
Все, чем была юность светла,
Вы думали: к первому марту
Я все проиграю — дотла.

Вы думали: в вызове глупом
Я, жизнь записав на мелок,
Склонюсь над запахнувшим супом,
Над завтрашней парой чулок.

Неправда! Я глупый, но хитрый,
Я больше не стану считать!
Я мокрою тряпкою вытру
Всю запись твою, нищета.

Меня не заманишь ты в клерки,
Хоть сколько заплат ни расти,
Пусть все мои звезды померкли —
Я счет им не стану вести.

Шептать мне вечно, чуть дыша,
Шаманье имя Иртыша,
В сводящем челюсти ознобе
Склоняться к телу сонной Оби.

А там еще синеют снеги:
Светлейшие снега Онеги.
Ах, кто, кроме меня, вечор им
Поведал бы печаль Печоры?

Лишь мне в глаза сверкал, мелькал,
Тучнея тучами, Байкал,
И, играя пеною на вале,
Чьи мне сердце волны волновали?

Чьи мне воды губы целовали?
И вот на губах моих—пена и соль,
И входит волненье и падает боль.
Играть мне словами с тобою позволь!

1916

РОССИЯ ИЗДАЛИ

Три года гневалась весна,
Три года грохотали пушки...
И вот — в России не узнать
Пера и голоса кукушки!

Заводы весен, песен, дней,
Отрите каменные слезы:
В России—вора голодней
Земные груди гложет озимь.

Россия—лен, Россия—синь,
Россия — брошенный ребенок,
Россию, сердце, возноси
Руками песен забубенных.

Теперь там зори поднял май,
Теперь там груды черных пашен,
Теперь там—голос подымай,
И мир другой тебе не страшен.

Теперь там мчатся ковыли,
И говор голубей развешан,
И ветер пену шевелит
Восторгом взмыленных черешен!

Заводы! Слушайте меня!
Готовьте пламенные косы:
В России всходят зеленя
И бредят бременем покоса!

1917

КОГДА КАЧНЕТСЯ

Когда качнется шумный поршень
И небеса поголубеют,
И пронесется низко коршун
Над голубиной колыбелью,
Какой немеющей ладонью
Сберут небесные одонья?

Владения осеннего тепла,
Где смерти сон—приветливый шабер,
И если ты осенний лист—не плачь:
Опрятен дней расчесанный пробор,

И гребешок из солнечных зубцов,
Распутывая кудри облаков,
Откроет вдруг холодное лицо.
И это—даль уснула глубоко.

И ветра в сияющем свисте
Осыплются звездные листья,
И кисти сияющих ягод
На пальцы берущие лягут.

1918

ТАЙГА

1

Выстрелом дважды и трижды
Воздух разорван на клочья...
Пули ответной не выждав,
Скрылся стрелявший за ночью.

И, опираясь об угол,
Раны темнея обновкой,
Жалко смеясь от испуга,
Падал убитый неловко.

Он опускался, опускался,
И небо хлынуло в зрачки.
Чего он, глупый, испугался?
Вон звезд веселые значки,

А вот земля, совсем сырая...
Чуть-чуть покалывает бок.
Но землю с небом, умирая,
Он все никак связать не мог.

2

Ах, еще, и еще, и еще нам
Надо видеть, как камни красны,
Чтобы взором, тоской не крещенным,
Переснились бы страшные сны,

Чтобы губы, не знавшие крика,
Превратились бы в гулкую медь,

Чтоб от мала бы всем до велика
Ни о чем не осталось жалеть:

Это клич — не упрек, не обида!
Это — волк завывает во тьме,
Под кошмою кошмаров завидя
По снегам зашагавшую смерть,

Он, всю жизнь по безлюдью кочуя,
Изучал издалека врагов
И опять из-под ветра почуял
Приближенье беззвучных шагов.

Смерть несет через локоть двустволку,
Немы сосны, и звезды молчат,
Как же мне, одинокому волку,
Не окликнуть далеких волчат!

1248538

3

Тебя расстреляли — меня расстреляли,
И выстрелов трели ударились в дали.
И даль растерялась — растрелилась даль,
Но даже и дали живому не жаль.

Тебя расстреляли — меня расстреляли:
Мы вместе любили, мы вместе дышали,
В одном наши щеки горели бреду.
Уходишь? И я за тобою иду!

На пасмурном небе затихнувший вечер,
Как мертвое тело, висит, изувечен,
И голубь, летящий изломом, как кречет,
И зверь, изрыгающий скверные речи.

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
Уральского Госуниверситета
г. Екатеринбург

Тебя расстреляли — меня расстреляли,
Мы сердце о сердце, как время, сверяли,
И как же я встану с тобою расстрелян
Пред будущим звонким и свежим апрелем?

4

Если мир еще нами не занят
(Нас судьба не случайно свела)—
Ведь у самых сердец партизанят
Наши песни и наши дела!

Если кровь напоенной рубахи
Заскорузла в заржавленный лед,
Верь, восставший! Размерены взмахи,
Продолжается ярый полет.

Пусть таежные тропы кривые
Накаляются нашим огнем...
Верь! Бычачью вселенскую выю
На колене своем перегнем!

Верь! Поэтово слово не сгинет;
Он с тобой — тот же загнанный зверь,
Той же служит единой богине
Бесконечных побед и потерь!

1919

В СТОНЫ СТАЛИ

В стоны стали погруженным,
В шопот шкива, в свист ремня,
Как мне кинуть по Гужонам
Радость искрой из кремня?

Как мне выбить, вырвать, вызвать,
Не успевши затвердеть,
И из-за лязга, из-за визга
Дрожь у тысячи сердец?

Ты о чем замолк, формовщик?
Выбей годы в звон листа!
За тебя теперь бормочет
Закипающая сталь.

Тугоплавкого металла
Зачерпни и пей до дна:
Ведь и этой песни алой
Влага,— горлу холодна.

Если горло стало горном,
День — расплавленным глотком,
Надо выть огнеупорным,
Мир тревожащим гудком.

Надо вызнать кранов скрежет,
Протереть и приладнять
Все, что треплет, кружит, режет
Болью будущего дня.

Пусть же все колеса сразу
Затрепещут, зазвенят —
Сложат песню — к фразе фразу —
Прокатив через меня.

1920

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕСНЯ

Была пора глухая,
Была пора немая,
Но цвел, благоухая,
Рабочий праздник Мая.

Осыпаны снегами,
Окутаны ночами,
Встречались мы с врагами
Грозящими очами.

Но встал свободы вестник,
Подобный вешним водам,
Винтами узких лестниц
Взлетевший по заводам.

От слов его синели
И плавились металлы,
И ало пламенели
Рабочие кварталы.

Его напевы проще,
Чем капля снеговая,
Но он запел — и площадь
Замолкла, как пустая:

«Рабочие России,
Мы жизнь свою сломаем,
Но станет мир красивей,
Зацветши первым Маем!

На серый мрамор крылец,
На желтый жир паркета
Для нас теперь раскрылись
Все пять объятий света.

Разрушим смерть и казни,
Сорвем клыки рогаток,
Мы правим правды праздник
Над праздностью богатых.

Не загремит «ура» у них,
Когда идет свобода,
Он вырван, черный браунинг,
Из рук врагов народа!

И выбит в небе дней шаг,
И нас сдержать не могут:
Везде сердца беднейших
Ударили тревогу.

Над гулом трудных будней
Железное терпенье.
Полней и многотрудней
Машин шипящих пенье.

Греми ж, земля глухая,
Заводов дым вздымая!
Цвети, благоухая,
Рабочий праздник Мая!»

1918

МАРШ БУДЕННОГО

С неба полуденного —
жара, не подступи,
конная Буденного
раскинулась в степи.

Все, что мелкой пташкою
вьется на пути,
перед острой шашкою
в сторону лети.

Не сынки у маменек
в помещичьем дому,
выросли мы в пламени,
в пороховом дыму.

И не древней славою
наш выводок богат —
сами литься лавою
учились на врага.

Пусть паны не хвастают
посадкой на скаку —
смелем рысью частою
их эскадрон в муку.

Будет белым помниться,
как травы шелестят,
когда несется конница
рабочих и крестьян.

Не затеваем бой мы,
но, помня Перекоп,
всегда храним обоймы
для белых черепов.

Пусть уздечки звякают
памятью о нем,
так растопчем всякую
гадину конем.

Никто пути пройденного
назад не отберет,
конная Буденного,
армия — вперед!

1922

СТАЧКОЛОМЫ

— Рядами с браунингами
— Выглядят славненькими,
— А мы их сзади за ноги:
— Глуши их болванками!

— Эй, стой, молодчик,
— Кусаешься, каналья?!
— А ну, теперь без лодочки
— Поплавай-ка в канале.

— Что же, что волосы?
— И волосы рвутся...
— Не шляйся, не шляйся,
— Пока не позовут, сам.

— Вспомнил мамашеньку?
— Взревел, как телок?
— Ну-ка — иди, ищи
— В котле свой котелок.

— Рви их на клочья,
— Прессуй их на табак,
— В рот этой сволочи
— Пилюли для собак.

— Стрелять не умеешь,
— Ручонки дрожат.
— Товарищи, товарищи,
— Не обнажать ножа!

— Почем платил хозяин?
— Точней с ним счеты смерь.
— И вслед летит, грозя им:
— «Штрейкбрехерам — смерть!»

1921

РАБОТА

Ай добль — добль ю!
Блеск домн — Стоп — Лью!
Дан кран — блеск — шип,
Пар, вверх — пляши!

Глуши котлы,
К стене — отхлынь,
Формовщик — день! —
Консервы — где?

Тень — стан — ремень,
Устань греметь.
Пот — кап, кап с плеч,
К воде б — прилечь.

Смугл — гол — блеск — бег,
Дых — дых — тепл — мех;
У рук пристыл,
Шуруй пласты!

Медь — мельк — в глазах...
Гремит гроза:
Стоп! — Сталь! — Стоп! — Лью!
Ай добль — добль ю!!

1921

КУМАЧ

Красные зори,
Красный восход,
Красные речи
У Красных ворот,
И красный — на площади Красной
Народ.

У нас пирогами
Изба красна,
У нас над лугами
Горит весна.

И красный кумач
На клиньях рубах,
И сходим с ума
О красных губах.

И в красном лесу
Бродит красный зверь...
И в эту красу
Прошумела смерть.

Нас толпами сбили,
Согнали в ряды,
Мы красные в небо
Врубили следы.

За дулами дула,
За рядом ряд,

И полымем сдуло
Царей и царят.

Не прежнею спесью
Наш разум строг,
Но — новые песни
Все с красных строк.

Гляди ж, дозирая,
Веков Калита:
Вся площадь до края
Огнем налита!

Краснейте же, зори,
Закат и восход,
Краснейте же, души,
У Красных ворот,

Красуйся над миром,
Мой красный народ!

1918

НЕ ЗА СИЛУ, НЕ ЗА КАЧЕСТВО

Не за силу, не за качество
золотых твоих волос
сердце враз однажды начисто
от других оторвалось.
Я тебя запомнил докрепка,
ту, что много лет назад
без упрека и без окрика
загляделась мне в глаза.
Я люблю тебя,— ту самую —
все нежней и все тесней,
что, назвавшись мне Оксаною,
шла ветрами по весне.
Ту, что шла со мной и мучилась,
шла и радовалась дням
в те года, как вьюга вьючила
груз снегов на плечи нам.
В том краю, где сизой заметью
песня с губ летит, скользя,
где нельзя любить без памяти
и запеть о том нельзя,
где весна, схватившись за ворот,
от тоски такой устав,
хочет в землю лечь у явора,
у ракитова куста.
Нет, не сила и не качество
молодых твоих волос,
ты — всему была заказчица,
что в строке отозвалось.

1925

ЗАПЛЫВ

У тебя
молодая рука;
пред тобою —
синеет река.
Слушай мудрость,
и помни одну:
не стремись
раньше срока
ко дну.
Разве можно
в мечтах изомлеть
на высокой
на этой земле?
Разве можно
тоской истекать
из-за каждого
пустяка?
Если сердце
и солнце —
теплы,
надо прыгать сразмаху
и плыть;
рассекая
вразлет эту тишь,
ты ли ласточкой
сверху летишь?
Легши на бок,
напрягши плечо,—
ты весь мир
за собою влечешь,
постепенно
волной овладев,

на воде,
на веселой воде...
Предо мной —
половина реки,
на меня —
еще лгут старики.
Помню мудрость
и знаю одну:
не итти
раньше срока
ко дну.
Не из прихоти,
не из причуд
я в стихе своем
сальто кручу,—
но мне страшно
в мечтах изомлеть
на высокой на этой земле.
Я не дамся
тоски пустяку
виснуть грузом
и ныть по стиху.
Легши на бок,
напрягши плечо,
я вперед уплываю
еще,
постепенно
волной овладев,
по веселой и светлой воде.
И за мной,
не оставив следа,
завивает
воронки вода.

1927

КУРСКИЕ КРАЯ

Вступление

Хоть и у тебя не мало мокрых
свежих рощ,— лишь щеки утирай,—
я тебя не славлю, Курский округ,
соловьиный край.

Что мне вспомнить? Чем меня дарила
родина щербатая моя?
Рытые да траченые рыла —
пьяные дядья да кумовья.

Со времен забытого удела
навеки-веков,
здесь земля не струнами гудела —
громом волосатых кулаков.

Били в душу, душу выбить силясь,
а потом — иди ищи,
кто пустил густую кровь с потылиц,
чьей свинчаткой свернуты хрящи.

Поднимались, падали, сходились
городские против слободских,
плакали, судились,
торговали, и — не стало их.

Вновь родившись, петь пытались снова,
но, звериным воем захрипев,
из зубов расшибленных, с полслова
выпадал напев.

И зари пустынное сиянье
над быльем постылого мирка—
над Путивлем, Суджей, Обоянью —
гасло, отсверкав.

Бор дремучий над рекой дремучей—
это только песенный галдеж;
а на деле — не изловишь случай,
так и пропадешь.

А на деле — скривленные ивы,
серый свет, что будний день зажег,
Тускари, холодной и ленивой,
плоский бережок.

Что ж сказать на путь и на прощанье
вам, что, в темень времени сбежав,
все еще грозитесь мне, мещаньи
выселки с глухого рубежа?

Стойте ж да бывайте здоровеньки!
Вас не тронет лесть или хула,
Люшенька да Нижни Деревеньки,
тенькавшие в дон колокола.

Стойте крепче. Вы — мое оплечье,
вы — мои деды и кумовья,
вы — мое обличье человечье,
Курские края.

1925

МАЛЬЧИК БОЛЬШЕГОЛОВЫЙ

Голос свистит щегловый:
мальчик большеголовый,
встань, протяни ручонки
в шелковой рубашонке!

Встань здесь и подожди-ка:
утро сине и дико,
всех здесь миров граница
сходится и хранится.

Утро сине и тихо,
солнца мокра гвоздика,
небо полно погоды,
Сейма сияют воды.

Пар от лугов белёсый
падает под березы;
желтый цветок покачивая,
пчелы гудят в акациях.

Мальчик большеголовый,
облак плывет лиловый,
мир еще занят тенью,
весь в пламенах рожденья.

Не уходи за это
море дождя и света,
чуй: качаны капусты
шепчут тебе: забудься!

Огненными вихрами
сразу пять солнц играют,
счастье стоит сторицей,
сдунешь — не повторится!

Шелк это или ситец,
стой здесь, теплом насытясь.
В синюю плавясь россыпь,
искрами брызжут росы.

Не уходи за это
море дождя и света,
стой здесь, глазком окидывая
счастье свое ракитовое!

1925

ДОМ

Дом стоял
у города на въезде,
окнами
в метелицу и тьму,
близостью
созвездий
думалось
и бредилось ему.
Зоревое пламя
било в стекла,
плыл рекой туман,
дом дышал
густыми коноплями,
свежестью,
сводящею с ума.
Он хотел
крыльцом скрипучим
дергать,
хлопать ставней,
крышей грохотать,
дом хотел
шататься от восторга,
что вокруг
такая благодать.
Что его,
до стрех обстав, подсолнух,
рыжей рожей
застил от других,
точно плыл он
на прохладных волнах

калачей
и лопухов тугих.
Что с того,
что был он деревянным,
что приштопан к камню,
в землю врос —
от него
тянулись караваны
свежих рощ
и вороненых гроз.
Он кружился с ними,
плыл и таял
и живущим помыслы
кружил,
до него
от самого Китая
долетали
синие стрижи.
Он кружился
и гримасы корчил,
млел огнями,
тьмою лиловел,
и его
ветров весенних кормчий
вел
других ковчегов в голове.
А когда
рябила осень лужи
и брало
метелицей кусты,—
дому
становилось хуже:
он стоял
примолкшим и пустым.

Только это —
с улицы казалось,
а внутри
он полон был и жив;
даже если
вызывал он жалость,
сам себя,
смеясь, ловил на лжи,
так как —
зорь зарозовевший иней,
стекол
заалмаженный узор —
вспыхивал и цвел,
как хвост павлиний,
синей и зеленой
бирюзой.
И, дымясь под первою
порошей,
коренастый,
тихий,
небольшой,
он вставал
опять, такой хороший,
со своею дымчатой
душой.
И, тепло запечное
не тратя
и забив оконные
пазы,
по косым
линованным тетрадям
он твердил
столетние азы.

И такой же тишью
невредимы,
заморозком
взятые в тиски,
по соседству
подымались дымы,—
буден
безголосые свистки.
В доме —
плыли тени
кошки, кружки,
фикуса, луны,
детских откровений
и смятений,
тишины
и старины.
Сквозь пазы
растрескавшихся кафель
плыл жарок
и затоплял края,
где басовый
стариковский кашель
гул вливал
в рассохшийся рояль.
В доме —
пели птицы —
сойки,
коноплянки и клесты.
И теперь еще
мне щебет снится,
зори, росы, травы и кусты.
И теперь...
Глаза бы не глядели,

уши бы не слышали
иной,—
кроме той
передрассветной трели,
что будила
детство за стеной.
И когда,
тавровое мещанство,
я теперь
смотрю тебе в глаза,
я не знаю,
где я умещался,
кто мне это
в уши насказал.
Может, в клетке,
может, из-за прутьев,
горькой болью
полный позарез,
в сны мои
протискивался
грудью
свежезаневоленный
скворец?!
Потому
не дни,
не имена я,
темный страх
в подзорьи затая,
лишь тебя
по бревнам
вспоминаю,
дом мой,
сон мой,
ненависть моя!

1926

ДЕД

Травою зеленой одет,
лукавя прищуренным глазом,
охотничьим длинным рассказом
прошел и умолкнул мой дед.

Забросив и дом, и жену,
и службу в казенной палате,
он слушал в полях тишину,
которой за подвиги платят.

Сверкала его лебеда
на двести шагов без отказа,
и зверю из черного лаза
двуногая мнилась беда.

Медведицы жертвенный рев,
на лапах качавшейся задних,
когда выступал медвежатник
из мрака безмолвных дерев.

И зимнею ночью он шел
с волками на честную встречу,
и ахало эхо картечи
по заимкам заспанных сел.

И я, его выросший внук,
когда мне приходится худо,
лишь злую подушку примну,
все вижу в нем Робина Гуда.

Зеленые волны хлебов,
ведущие с ветром беседу,
и первую в мире любовь
к герою, к охотнику — к деду.

1926

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

1

Читатель, стой!
Здесь часового будка...
Здесь штык и крик.
И лозунг. И пароль.
А прежде —
здесь синела незабудка
веселою мальчишеской порой!
Не двигайся!
Ты, может быть,
лазутчик,
из тех, кто руку жмет,
кто маслит глаз,
кто лагерь наш
разделит и разучит,
а после
бьет свинцом враждебных фраз.
Кто,
лаковым предательством играя,
по виду — покровительствует нам,
чья наглая уступчивость — без края,
чье злобное презрение — без дна.
Вот он идет,
уверенно шагая,
с подглазьями, опухшими во сне,
и думает,
что песнь моя нагая
его должна стесняться и краснеть!..
Скопцы, скопцы!
Куда вам песни слушать!

Вы думаете,
это так легко,
когда
до плеч пузыристые уши
разбухли золотухою веков!
Вот он идет...
Кружи его без счета!
Гони его по лабиринту рифм!
Глуши его,
громи огнем чечоток,
трави его,
чтоб стал он глух и крив!..
А если друг —
возьми его за локоть
и медленной походкой проведи,
без выкупа, без всякого залога,
туда, где мы
томимся, победив!
Отсюда вот —
с лирических позиций,
не изменив,
но изменясь в лице, —
мне выгодней тревожить и грозиться
и обходить раскинутую цепь.
Мы здесь стоим
против шестидюймовых,
отпрыгивающих, визжа, назад,
мы здесь стоим
против шеститомовых,
петитом
ослепляющих глаза.
Читатель, стой!
Здесь окрик и граница:

здесь вход и форт,
                    не конченный еще;
со следующей он открыт страницы.
И только — грудью защищен!

2

Ни сердцем,
            ни силой —
                        не хвастай...
Об этом лишь в книгах умно!
А встреться с такой вот, бровастой,
и станешь ходить, как чумной.
От этой улыбки суровой,
от павшей
            до полу
                    косы
порывами ветра сырого
задышит апрельская синь.
От этой беды
            тонколицей,
где
    жизни глухая игра,
дождям и громам перелиться
через горизонтовый край.
И вскинет
            от слова простого,
примявшего вкось ковыли,
курьерская ночь до Ростова
колесами звезд шевелить,
Ничем —
        ни стихом,
                    ни рассказом,
ни самой судьбой ветровой —

не будешь так скомкан
и разом
распластан вровень с травой.
Тебе бы — не повесть,
а поезд.
Тебе б —
не рассказ,
а раскат,
чтоб
мчать, навивая
на пояс,
и стран
и событий каскад.
Вот так
на крутом виадуке,
завидевши дальний дымок,
бровей загудевшие дуги
понять
и запомнить я б смог.
Без горечи, зависти, злобы
следил бы
издалека,
как в черную ночь
унесло бы
порывы паровика!
А что мне вокзальный порядок,
на миг
вас сковавший со мной
припадками всех лихорадок,
когда я
и сам
как чумной?!

3

Скажешь:
Вона!
Заныл опять!
Ты глумишься,
а мне не совестно.
Можно с каждой женщиной спать,
не для каждой — встаешь в бессоннице.
Хочешь, вновь я тебе расскажу
по порядку,
как это водится?
Ведь каким я теперь брожу,
и тебе как-нибудь забродится!
Все вокруг
зацветет, грустя,
словно в дальние страны едучи,
станет явен
всякий пустяк
каждой поры в лице и клеточки.
Руку тронешь —
она одна
отзовется
за всех и каждого,
выжмет с самого сердца дна
дрожь удара
самого важного.
Станешь таять,
как снег в воде,—
не качай головой, пожалуйста,
даже если б ты был злодей,
все равно — затрясет от жалости
Тьма ресниц и предгрозье губ,
запылавших цветами в Фаусте...

Дальше —
даже и я не смогу
разобраться в летящем хаосе;
низко-низко к земле присев,
видишь,— вновь завываю кликушей;
я б с размера не сбился при всех,
да язык
досиня прикушен!

4

За эту вот площадь жилую,
за этот унылый уют
и мучат тебя, и целуют,
и шагу ступить не дают?!
Проклятая тихая клетка,
с пейзажем,
примерзшим к окну,
где полною грудью
так редко,
так медленно
можно вздохнуть.
Проклятая черная яма
и двор с пожелтевшей стеной!
Ответь же, как другу,
мне,
прямо,—
какой тебя взяли ценой?
Молчи! Все равно не ответишь,
не сложишь заученных слов;
не мало
за это на свете
потеряно буйных голов.

Молчи!
Ты не сломишь обычай,
пока не сойдешься с одним —
не ляжешь покорной добычей
хрустеть, выгибаясь под ним!
Да разве тебе растолкуешь,
что это —
в стотысячный раз
придумали муку такую,
чтоб цвел полосатый матрас.
Чтоб ныло усталое тело,
распластанное поперек,
чтоб тусклая маска хрипела
того, кто тебя изберет!
И некого тут виноватить:
как горы,—
встают этажи,
как громы,—
пружины кроватей,
и —
надобно ж как-нибудь жить!
Так, значит —
вся молодость басней
была,
и помочь не придут,
и день ожидания сгаснет
в неясном рассветном бреду?
Но кто-нибудь сразу,
вчистую,
расплатится ж
блеском ножа
за эту вот
косу густую,
за губ остывающий жар?

5

От двенадцати до часу
мне всю жизнь к тебе стучаться!
Не по жиле телефона,
не по кодексу закона,
не по силе,
                не по праву,
сквозь железную оправу.
Даль весенняя, сквозная,
я тебя другую знаю:
я тебя видал такою,
что не двинуться рукою,
в солнце, в праздник,
                                в ветер, в будень,
всюду влажный синий студень!
От двенадцати до часу
мне сквозь мир к тебе стучаться,
обо все себя ломая,
сквозь кронштейны,
                                сквозь трамваи,
сквозь насмешливые лица,
сквозь свистки и рысь милиций,
сквозь забытые авансы,
сквозь лохмотья хитрованцев,
сквозь дома
                и сквозь фиалки,
на трясучем катафалке!!
От двенадцати до часу
навкось мир начнет качаться,
мир суровый, мир лиловый,
страшный, мертвый мир былого;
мир, где от белья и мяса
тучк тушами дымятся,

где стреляют, режут, рубят,
где губами
жгут и губят
теми ж,
ими же болтая
об эпитетах в «Полтаве»!
Я доволен буду малым,
если грохнет он обвалом,
я и то почту за счастье,
если брызнет он на части,
если, мне сломавши шею,
станет чуть он хорошее!..
Это все должно начаться
от двенадцати до часу.

6

Мой дневник!
Не стань анекдотом
лорелейной грусти —
если женщину выкрал кто-то,
он ее не пустит.
Он забьет,
измучит,
изранит
и сживет со света,
в жизни или на экране,—
все равно мне это!
И она загрустит,
закрутит,
переменит званье,
разбазарит глаза и груди
и в старуху свянет!

7

Нет,
ты мне совсем не дорогая;
милые такими не бывают...
Сердце от тоски оберегая,
зубы сжав,
их молча забывают.
Ты глядишь —
меня не понимая,
слушаешь —
не видя и не веря,
даже в этой дикой сини мая
видя жизнь —
как смену киносерий.
Целый день лукавя и фальшивя,
грустные выдумывая штуки,
вдруг —
взметнешь ресницами большими,
вдруг —
сведешь в стыде и страхе руки.
Если я такой тебя забуду,
если зубом прокушу я память —
никогда
к сиреневому гуду
не итти сырыми мне тропами.
«Я люблю, когда темнеет рано!» —
скажешь ты
и станешь как сквозная,
и на мертвой зелени экрана
только я тебя и распознаю.
И, веселье призраком пугая,
про тебя скажу, смеясь с другими:

— Эта —
мне совсем не дорогая!
Милые бывают не такими.

8

Убегая от слова прямого
и рассчитывая
каждый шаг,
сколько мы продержались зимовок,
так называемая
душа?
Ты училась юлить
и лизаться,
норовила прожить без вреда,
ты во время мобилизаций
притворялась
идущей в рядах...
И когда колыхавшимся газом
плыли беды,
ты, так же ловча,
опрокинув и волю и разум,
залегала в дорожный ровчак.
В ряд с тобою был так благороден,
так прозрачен и виден на свет
даже серый, тупой оборотень,
изменяющий в непогодь цвет.
Где же взять тебе плавного хода,
вид уверенный,
явственный шаг,
ты, измятый, изломанный кодак,
так называемая душа?
Вот смешались поля и пейзажи,
все, что блеск твоих дней добывал,

и теперь —
ты засыпана заживо,
в черной страсти упавший обвал.
Что ж,
попробуй, поди, прояви-ка,
в этой пленке нельзя различить,
чьи глаза, чьи слова там навыкат,
чьих планет пересеклись лучи.
Как узнать там твой верный, любимый
облик жизни —
большой и цветной?
Горя хлористым золотом вымой
расплывающееся пятно.
Если песни бессильны,—
то прочь их,
слепорожденных жалких котят.
Видишь:
спрыгнуть с нависнувших строчек,
как с карниза лепного, хотят.
Если делаешь все вполовину,—
разрывайся ж
и сам пополам!
О, горячая лет пуповина,
о, гремящая
губ кабала!

1924

О ПАМЯТИ

Мы теперь
　　«Интервенцию»
　　смотрим в театре, на сцене;
«Двадцать шесть комиссаров» —
　　инсценируем в фильме, в кино;
Время боль усмиряет,
　　уходят в историю тени.
На глазах очевидцев
　　нарастает налет ледяной.
Гримированной были
　　не выдержать с жизнью сравненья,
Их последних минут —
　　Объективу не отыскать,
И насколько ж была
　　величавее,
　　проще,
　　　　скромнее
Повседневная жизнь их
　　и горькая гибель в песках!
Даже всех их фамилий
　　не вложишь в короткую память:
Шаумян, Джапаридзе...
　　А дальше — в архивы глядеть.
Для того ли стояли они
　　над бруствером на яме,
Чтоб исчезнуть из памяти
　　им благодарных людей?
Нет! Припомнишь опять, —
　　и мороз подирает по коже

Как сняла звезда,
Как скрипела тюремная дверь.
И насколько ж оно,
и похоже и непохоже,
То, что было тогда,
на то, чем явилось теперь.
Это ихние кости
скрепили фундаменты стройки,
Струйкой крови из ран их
впервые намечен канал,
Потому что —
они оставались
упорны и стойки,
Потому что —
их взгляд
этих лет перелет обгонял.
И теперь,
когда с горки дорогу пройденную видно,
И чем дальше,
тем крепче
прошедшее в руки дано,
При начале пути
возникают они монолитно
Двадцать шесть комиссаров —
как цельное имя одно.
И когда по Германии
ловят и душат партийцев,
И рабочего моря
приспущенный вымпел поник,—
Мы наверное знаем,
во что она обратится —
Эта кровь пролитая
и прочная память о них.

Возникайте же выше
    плечами из камня и стали,
Алюминием
    небо советских высот
        серебря,
Вы, которых, предательски выкравши,
    в ночь расстреляли
С девятнадцатого на двадцатое сентября.

1923

ДЕКАБРИСТЫ

1

Раненым медведем
мороз дерет.
Санки по Фонтанке
летят вперед.
Полоз остер —
полосатит снег.
Чьи это там
голоса и смех?
— Руку на сердце
свое положа,
я тебе скажу:
— Ты не тронь палаша!
Силе такой
становясь поперек,
ты б хоть других —
не себя — поберег!

2

Белыми копытами
лед колотя,
тени по Литейному
дальше летят.
— Я тебе отвечу:
— Друг дорогой,
гибель не страшная
в петле тугой!
Позорней и гибельней
в рабстве таком,

голову выбелив,
стать стариком.
Пора нам состукнуть
клинок о клинок:
в свободу — сердце
мое влюблено.

3

Розовые губы,
витой чубук,
синие гусары —
пытай
судьбу!
Вот они, не сгинув,
не умирав,
снова
собираются
в номерах.
Скинуты ментики,
ночь глубока,
ну-ка, запеньте-ка
полный бокал!
Нальем и осушим,
и станем трезвей:
— За Южное братство,
за юных друзей.

4

Глухие гитары,
высокая речь...
Кого им бояться
и что им беречь?

В них страсть закипает,
как в пене стакан:
впервые читаются
строфы «Цыган».
Тени по Литейному
летят назад.
Брови из-под кивера
дворцам грозят.
Кончена беседа,
гони коней,
утро вечера
мудреней.

5

Что ж это,
что ж это,
что ж это за песнь?
Голову на руки
белые свесь.
Тихие гитары,
стыньте, дрожа;
синие гусары
под снегом лежат!

1926

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Сто довоенных
внушительных лет
стоял императорский
университет.

Стоял,
заложив угла во главу
умов просвещенье
и точность наук.

Но точны ль
пределы научных границ
в ветрах
перелистываемых страниц?

Не только наука,
не только зудёж,—
когда-то
здесь буйствовала молодежь.

Седые ученые
в белых кудрях
немало испытывали передряг.
Жандармские шпоры
вонзали свой звон
в гражданские споры
ученых персон.

Фельдъегерь,
тех споров конца не дождав,
их в тряской телеге сопровождал.
И дальше за шорох
печористых рек

конвойным их вел
девятнадцатый век.
Но споров тех пылких
обрывки,
обмылки
летели, как эхо, обратно из ссылки.

И их диссертаций
изорванных клочья,
когда еще ты
не вставал, пролетарий,—
над синими льдами,
над царственной ночью,
над снами твоими,
кружась, пролетали!
Казалось бы — что это?
Парень-рубаха,
начитанник Гегеля
и Фейербаха,
не ждя для себя
ни наград, ни хваленья,
встал первым из равных
на кряж поколенья!
Да кряж ли?
Смотрите:
ведь мертвые краше
того, кто цепями
прикован у кряжа,
того,
кто, пятой самолюбье расплющив,
под сереньким
русского дождика хлющей
стоит, объярмован
позорной доскою,

Стоит, нагружен
хомутовой тоскою.
Дорога плохая,
погода сырая...
Вот так и стоит он,
очки протирая,
воды этой тише,
травы этой ниже,
к бревну издевательств
плечо прислонивши.

Сто довоенных
томительных лет
стоял императорский
университет.
На север, сея, стоял
и на юг
умов просвещенье
и точность наук.
Но точны ль
пределы научных границ
в ветрах
перелистываемых страниц?
С наукой власть
пополам поделя,
хранили его тишину
педеля...
Студенты, чинной став
чередой,
входили
в вылощенный коридор.
По аудиториям
шум голосов

взмывал,
замирал
и сникал полосой.
И хмурые своды
смотрели сквозь сон
на новые моды
ученых персон.
На длинные волосы,
тайные речи,
на косовороток
подпольные встречи,
на черные толпы
глухим ноябрем,
на росчерк
затворов,
на крики:
«Умрем!»
На взвитые
к небу
казацкие плети,
на разноголосые
гулы столетья,
на выкрик,
на высверк,
на утренний тот,
чьим блеском
и время и песня цветет!

1932

МЕТЕХ

И тех и этих,
                  и этих и тех,
Забытых
          и близких самых,
Когтил
        в тяжелых лапах
                              Метех —
Угрюмый тюремный замок.
Томленьем
              самых смертных истом
Грозя ни в чем неповинным,
Темнел
        тяжелым своим гнездом,
Железным крылом совиным.
По этим
          ребристым, булыжным камням,
Тесня и толкая грубо,
Стянувши руки
                 тоскою ремня,
Вводили
         за группой группу.
Пригнувшись,
               двое тюремных ворот
Хранили на волю выход.
На том берегу
                теснился народ
В заботах копеечных выгод.
Гремел прикладами
                     глухо конвой

За вновь прибывшим отрядом,
И скрещивался
взгляд огневой
С тяжелым совиным взглядом.
Им нечего было
отрицать:
Повсюду
в загорной шири
Друзей их чувствовались
адреса
И явочные квартиры.
Их всех рассаживали
по номерам —
По узким ущельям
камер,
Чтоб взгляд их
медленно умирал,
Чтоб голос
с годами замер.
Но солнце
било в окошко тюрьмы,
И горы —
синели близко...
И облака край —
как под дверьми
Подсунутая записка.
И голос не глох,
и взгляд их не тух,
И правды —
не скроешь, припрятав;
Тюремной азбуки
перестук
Гремел
звучнее прикладов.

Была такая
крутая пора,
Что
дух отрывался от тела;
Река Кура,
быстра и скора,
Без памяти
вниз летела.
Река Кура
крутилась винтом,
Плоты по ней плыли с песней,
То там, то здесь
заливался кинто,
Бесхитростный
и беспечный.
Казалось,
шел по реке маскарад —
Безудержное веселье,—
Катилась река,
шумна и скора,
Без всякой,
казалось,
цели.
Но — перепиленный
падал замок,
И, вниз
скользя
по обрыву,
Тень,
похожая на Камо,
Врывалась в речную гриву.
Плоты скользили,
сады цвели,

Орлы
над взгорьем кружили;
И — зря
винтовочные стволы
Их
дальний полет сторожили.
Не смяв,
не сдавив,
не погасив
Их воли —
ни пыткой, ни страхом,
Угрюмого замка
тяжелый массив
В Куру осыпается
прахом.
И если б на память
зарисовать
Его захотел теперь я, —
То вот его облик:
слепая сова
В Куру осыпает перья.

1935

РУССКАЯ СКАЗКА

1

Говорила моя забава,
моя лада, любовь и слава:
— Вся-то жизнь твоя — небылица,
вечно с былью людской ты в ссоре,
ходишь — ищешь иные лица,
ожидаешь другие зори.

2

Люди чинно живут на свете,
расселясь на века, на версты,
только ты, схватившись за ветер,
головою в бурю уперся,
только ты, ни на что не схоже,
называешь сукно — рогожей.

3

Отвечал я моей забаве,
моей ладе, любви и славе:
— Мне слова твои не по мерке
и не в пору упрек твой льстивый,
еще зори мои не смеркли,
еще ими я жив, счастливый.

4

Мне ль повадку не знать людскую,
обведешь меня словом ты ли?

Люди больше меня тоскуют,
видишь — ветер винтом схватили,
видишь — в воздух уперлись пяткой,
на машине качаясь шаткой.

5

Только тем и живут и дышат —
довести до конца уменье:
как такие вздумать снаряды,
чтоб не падать вниз на коленья;
чтобы каждый — вольный и дошлый —
наступал на облак подошвой.

6

И я знаю такую сказку,
что начать, так дух захолонет!
Мне ее под вагона тряску
рассказали в том эшелоне,
что, как пойманный в клетку, рыскал
по отрезанной Уссурийской.

7

Есть у многих рваные раны,
да своя болит на погоду;
есть на свете разные страны,
только к той, что узнал, — нет ходу.
Если все их смешаю в кучу —
то и то тебе не наскучу.

8

Оглянись на страну большую —
полоснет пестротой по глазу.
Люди в ней не живут — бушуют,
только шума не слышно сразу, —
от ее голубого вала
и меня кипеть подмывало.

9

Вот расплакалась мать над сыном
в том краю, что со мною рядом;
в этом — пахнет пот керосином,
рыбий жир в другом — виноградом;
и сбежались к уральской круче
горностаевым мехом тучи.

10

Вот идет верблюд, колыхаем
барханами песен плачевных,
и на нем, клонясь малахаем,
выплывает древний кочевник;
среди зарев степных и марев
он улиткою льнет к Самаре.

11

А из вятских лесов дремучих,
из болот и ключей гремучих,
из глухих углов Кереметн,
по деревьям путь переметив,
верст за сотню, а то и за пять —
пробирается легкий лапоть.

12

Вон из дымного Дагестана,
избочась на коне потливом,
вьется всадник осиным станом,
синеватым щеки отливом.
А другой, разомчась из Чечни,
ликом врезался в ветер встречный.

13

А еще — в глухом отдаленьи,
где морская глыбь посинела,
тупотят копыта оленьи
под луною окоченелой:
медный остров, выселок хмурый,
шлет покрытых звериной шкурой.

14

Отовсюду летят и мчатся,
звонит повод, скрипит подпруга,
это стягиваются домочадцы,
что не знали в лицо друг друга.
Из становий и из урочищ
собирает их старший родич.

15

Он лежит под стеною кремлевской,
не велик и не грозен с виду,
но к нему — всех слез переплески,
всех окраин людских обиды,
не заботясь времени тратой,
поспешают вдогон за правдой.

16

Он своею силой не хвастал,
не носил одежды парчевой,
но до льдов, до снежного наста
им вконец весь край раскорчеван.
В Бухаре и в Нижнем-Тагиле
говорят о его могиле.

17

Что же ты грустишь, моя лада,
о моей непонятной песне?
Радо сердце или не радо
жить с такою судьбою вместе?!
Если рада слушать такое —
не проси от меня покоя.

18

Знать, недаром на свете живу я,
если слезы умею плавить,
если песню сторожевую
я умею вехой поставить.
Пусть других она будет глуше —
ты ее, пригорюнясь, слушай.

1926

ЧУДЕСА

Лишь
вспыхнут
дымки
трудового денька
У топок котлов,
у домен грудастых —
И видишь:
нужна государству деньга,
большая деньга
нужна государству.
Действительно:
это нельзя описать
и вымолвить трудно,
и трудно представить:
растут корпуса,
как во сне чудеса
растут,—
но в реальной,
самделишной яви.
Ты знаешь,
что это не чудо.
Ты сам
своими делами,
руками,
глазами
притронулся
к этим крутым чудесам;

ты видел их
вровень с землей
под лесами,

ты видел,
как в небо
взвивалась стрела,

как тешутся бревна,
стругаются планки,

ты видел,
как кони
грызут удила,

как месится цемент,
как фыркают танки,

как аэропланы
скользят на крыле
и четырехмоторная
движется тень их

надежной защитой
Советской земле.

И все это
требует
денег и денег.

Банкиры,
засев
по квартирам уютным,
не очень-то
взаймы охотно дают нам.
Они бы
тогда отслюнили нам за́ймы,
когда,
передав из полы в полу,
мы б земли свои
отдали им внаймы,

и сами б
склонились
к ним в кабалу.
Но сами,
храня свои земли
и реки,
мы денег
своею братвой
наскребли
и сами
построили
блюминг и крекинг
на наши,
советские рубли.
Днепровской плотины
широк полукруг...
Уже выжимают
днепровские шлюзы
ладонями
влажных
сияющих рук
на них оседающие грузы.
Уже отвечает
заботам земля
разливом пшеницы
в колхозных массивах,
уже
нами выпущены
на поля
четыреста тысяч
тракторных сивок.
Уже
по буржуям бежит холодок,

и бас
никакой не покроет
шаляпинский —
когда
за гудком поднимают гудок
басы:
Сталинградский,
Харьковский,
Челябинский.

Мы сложных машин
разгадали секрет.
Мы техники пользу
на ус намотали,

и корпус страны
зашумел, разогрет,
на нефти,
железе,
угле и металле.

Мы рук за подачками
не суем,
наследства ж
забыли оставить нам предки.

Мы сами себе
отпустим заем
Первого года
второй пятилетки.

Неужто
цепляться
за толстых
за нянь?

Неужто
канючить
с ручкой по людям?

— Сами себе
                    сумеем занять,—
сами себе
            и выплачивать будем,
Мы прочно
                решили
                        стоять на своем,
чтоб нам,
            а не толстым,
                            сиять напоследки.
Вот для чего
                мы даем
                        заем
Первого года
                второй пятилетки.
Товарищи!
            Это сказал не я —
не я,
        советский поэт,
                    единица, —
на этом
            страны трудовая семья
в общем гуле
                объединится.

1933

ДВОЕ НЕИЗВЕСТНЫХ

Что такое счастье,
Милый друг?
Что такое счастье
Близких двух?

Выйдут москвичи из норок,
В белом все, в летнем все,
Поглядеть, как на планерах
Дни взмывают над шоссе.

По шоссе шуршат машины
На лету, налегке,
Тополевые пушины
На Москве, на реке.

А по краю, по опушке,
Здесь, у всех же на виду,
Тесно сдвинуто друг к дружке
На серебряном ходу,

Едет счастье краем леса
По тропинке по лесной;
Пахнет хвоевым навесом,
Разомлелою сосной.

Едет счастье, едет, едет,
Еле слышен шины хруст.
Медленно на велосипеде
Катит драгоценный груз.

Милая бочком уселась
У рогатого руля.
Ветер навевает смелость,
Краем платья шевеля.

Он руками обнял стан ей,
Самый близкий, самый свой.
А кругом — зари блистанье,
Запах ветра, шелест хвой.

Едет счастье, едет, едет,
Здесь же, рядом, под рукой,
Медленно на велосипеде
Ощущается щекой.

Чуть поблескивают спицы
Искрой сдвинутых лучей;
Хорошо им, видно, спится
Друг у друга на плече!

Ветер! Техник и механик,
Тополевый взбей им пух!
Обдувай в благоуханье
Неизвестных этих двух.

А кругом — Москва в нарядах,
А кругом — Союз в цвету,
Красной Армии порядок,
И планеры в высоту!

Что ж это за счастье
Близких двух:
Вот оно какое,
Милый друг.

1935

ПЕСНЯ О ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ

Говорят, в Тюмени
любят есть пельмени,
А больше о Тюмени той
и слыхом не слыхать.
И вдруг из той Тюмени
лыжи зашумели —
Ласточками зимними
начали порхать.
Зашумели лыжи,
зашуршали ближе.
Кто идет?
Приложим руку козырьком.
Кто летит по снегу
со всего разбегу,
Через буераки,
над сонным озерком?
Сила и уменье
мчат к нам из Тюмени,
Стелют с горки на гору,
опушкой по леску,
Здоровых сил излишек
к нам движется
на лыжах;
Пошла Тюмень далекая
приветствовать
Москву.
Лыжи тонко тесаны,
волосы зачесаны,

Щеки от мороза
разрумянились свежей.
В дивизии стрелковой —
народ, видать,
толковый,
А жены командиров —
не менее мужей!
Идут они тайгою,
одна за другою,
Прекрасны и настойчивы
в движении
своем.
Под инеем хрустальным,
в стремленьи
неустанном —
И прямо к Ворошилову
приходят на
прием.
Когда такое было,
чтоб лыжи доносило
От самого Урала
до самого Кремля?!
У нас такое было,
у нас такая сила,
У нас такая поступь,
такая земля.
На Электрозаводе
все в хлопотах,
в заботе:
Садитесь, ешьте, кушайте,
снимайте ремень,
Про путь свой расскажите,
беседу
завяжите,

А после отдыхайте,
подружка-Тюмень!
Нины, Веры, Клавы,
о вас повсюду слава;
Перед вами расстилается
блестящий
светлый путь.
Вас, женщины советские,
не сдуют ветры
резкие
И вьюги не заставят
в сторону свернуть.
Прошло не больше года,
и с Электрозавода,
В ответ на этот
дальний веселый визит,
Бригадой комсомольской
до самого
Тобольска
Отряд девчат отважных
на лыжах
скользит.

Да что ж это такое,
что нету им покоя,
Что нету их разгону
предела-рубежа?
Ни вьюги не таятся,
ни волков не боятся,
Две тыщи с половиной километров
пробежав.
А дальше из Тобольска
шумят: «И нам
не скользко:

Пойдем до Ленинграда
на следующий
год!»
Опять рывок со старта,
и вот к Восьмому
марта
Закончен будет новый
рекордный переход.
Нины, Веры, Киры —
вы сами командиры,
Пред вами вот он стелется,
блестящий
светлый путь.
Вас, женщины советские,
не сдуют ветры
резкие
И вьюги не заставят
в сторону свернуть.
Ну, где такое было,
чтоб лыжи доносило
До самого Урала
от самого Кремля?
У нас такое было,
у нас такая сила,
У нас такая женщина,
такая земля!

1930

ВЕСНА СТРАНЫ

Весна страны
на полный ход

На полный оборот
У самых северных широт,
У черносливных вод!

Везде
светла,
напряжена,

Упорна и дружна
И глубина
и вышина —

Советская весна.

Везде,
где влажный грунт размяк,

Где сыро
и черно,

Ложится вглубь,
во весь размах

Тяжелое зерно.
Зерно кубанки яровой,
Зерно тугих идей,

Зерно
запашки мировой,

Величия людей.
Зерно отборных,
крупных лет,
Селекция времен,

Зерно,
которым движет
свет
Развернутых знамен.
Зерно
взволнованных глубин,
Оправданных
страстей,
Зерно
отстроенных турбин,
Проложенных путей.
Оно
охвачено жарой
Разымчивых лучей,
Оно
влажнеет кожурой
От почвенных ключей.
Оно—зеленый фейерверк,
колхозов
ранний день,
Оно всю землю тянет вверх,
На новую ступень.
Неповторим,
нерастворим,
Мир движется вперед,
Весна страны
владеет им
На полный разворот!
И ты, мой стих,
не повторись
И новое отметь,
Как выезжает тракторист
Под солнечную медь.

Ведет
коней
на коновязь
Колхозный бригадир.
И, весь
в загаре обновясь,
Здоров советский мир.
Как люди,
не боясь беды,
Идут
во мрак и льды,
Чтоб время новое вписать
В иные небеса.
Как на спецовках
липнет грязь
И сохнет от ветров,
Как мы, любя,
сердясь,
смеясь,
Ведем свое метро.
Как бег годов —
что лет минут.
И песни нет
про то,
Что люди будущее
мнут
И месят,
как бетон.
Аэропланы
тянут даль,
Как невод,
за собой...

Упорно
врубовая сталь
Въедается в забой...
Растет
добыча чугуна,
Огромен
дел дневник,
И бьет
советская весна
Из вышек нефтяных.
И человек
не одинок
В такой большой весне,
И счастье
ластится у ног
Все ближе
и тесней.
И ты
пройдешь
проходку лет
И вырубишь забой,
И светлой
молодости
след
Оставишь за собой...
И ты
припомнишь этот год,
Сияющий по край,
Когда весна —
на полный ход,
На полный
первый Май!

1933

ЭСТАФЕТА

Что же мы, что же мы,
неужто ж размоложены?
Неужто ж нашей юности
конец пришел?

Неужто ж мы—седыми—
сквозь зубы зацедили,
неужто ж мы не сможем
разогнать прыжок?

А нуте-ка, тикайте,
на этом перекате
пускай не остановится
такой разбег...

Еще ведь нам не сорок,
еще зрачок наш зорок,
еще мы не засели
на печи в избе!

А ну-ка, все лавиной
на двадцать с половиной;
ветрами нашей бури
напрямик качнем.

На этом перегоне
никто нас не догонит.
Давай? Давай!
Давай начнем!

Что же мы, что же мы,
неужто ж заморожены,
неужто ж нам положено
на месте стать?

А ну-ка, каблуками,
махнем за облаками,
а ну, опять без совести
во-всю свистать!

Давайте перемолвим
Безмолвье синих молний,
давайте снова новое
любить начнем...

Чтоб жизнь опять сначала,
как море, закачала.
Давай? Давай!
Давай начнем!

1929

ВЪЕЗД

Стуком поспешной поступи,
Гарью полынного запаха
Поезд топочет по степи,
Поезд —
с северо-запада.
Ночью по сонной шири
Скорый летит без удержа,
Крепки сны пассажирьи,
Пушкой
их не добудишься.
Да и откуда — пушки?
Мирные здесь звучания;
Вон уж —
по краю кружки
Звякнули ложечки чайные.
Утро.
Взглянувши в окна,
Вставши на умыванье,—
Сразу вся очередь охнет:
Что это там,
в тумане?!
Сразу поймут:
не дома,
Сразу, забыв о суточных,
Сердце сожмут истомой
Этих масштабов нешуточных.
Видишь —
как в отдаленьи
Дремлющими слонами

Горы,
согнув колени,
Вздыбились перед нами.
Дымной круглясь спиною,
Лоб отвернув белесый,
Млеют судьбою иною
Дремлющие
колоссы.
Вот они
ближе, круче,
Можно рукой потрогать
Севшей на землю тучи
Каменные отроги.
Можно уже увидеть,
Кто на них копошится:
Люди иных фамилий —
Джаншиевы,
Абашидзе...
Будничные бешметы,
Мельком на поезд глянув,
Заняты сверкой,
сметой,
Реализацией планов.
Рубят,
строгают,
роют,
Прудят бетоном реки.
Новый
Кавказ свой
строят
Кровники и абреки.
Тени ветвей влача,
Мирно цветет алыча,

Цедят кони губами
Пену студеной Кубани.
Горы уходят
за горы.
Словно
навек наколото
Этого
синего сахара,
Светлого
этого холода.
Видишь!
совсем вот тут они
Встали,
до плеч расшитые
В ценность
породы тутовой,
В крепость
стволов самшитовых.
Годы уходят за годы.
Новое
звонче кличется.
Пухнут в нагорьях
ягоды
Ясного электричества.
Помнишь,
В таком вот поезде
Резкостью сна заклятого
Стало
начало
повести
В наши глаза заглядывать.

1931

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

Камень камню кричит:
                    помоги!
Сердце сердцу стучит:
                    осторожно!
Теснотой этих тропок стреножено,
Горе скачет,
          стуча в три ноги.
Человек на скале — это быль...
Пыль из бурок
              нагайкой не выбьешь.
Как коня ни резви
                и ни мыль,
Все равно его к небу не вздыбишь.
Гром железо кует в небесах,
Плети молний секут по вершинам,
По протравленным едко морщинам,
Как поток,
          эту жизнь описав.
Человек на скале —
                    это быль.
Человек на коне —
                  это песня,
Это скалы взлетели отвесно,
Это —
      ветром взметенная пыль!
Нет, не песни движенье и взлет,
Это — вымершей были восстанье,
Это —
      средневековый крестьянин

К небесам свою молодость шлет.
Вот автобус гудит: обгони!
Разве скачка
для сердца лекарство?
Отдышали в лесах кабаны,
Землю вынюхав мордой клыкастой.
Бурку вскинув за плечи крылом,
Ты напрасно
коня загоняешь,
Ты напрасно летишь напролом,
Ты
размера той силы не знаешь.
И шоферу в кабине нельзя,
Неудобно с тобой состязаться —
Он машину
ведет тормозя,
Он ведь знает,
что конь твой — богатство.
Я губами на облако дуну,
Я плечами откинусь на склон,
Если люди
здесь стройны, как струны,
Только тронь — и посыплется звон.
Я тебя умоляю, молю,
Это ж
пчелы умеют из воска!
Замени отзвеневший аллюр
На
крылами плывущую плоскость,
Чтобы там, где бесхвостый шакал
Изнывал свою низкую участь,
Окна школы лепились у скал,
Агрогород поблескивал в туче.
Чтоб задача была решена,

Чтобы губы мои
не мертвели.
Чтоб кололась в куски тишина
Под гортанным напевом картвели.
Чтоб не в горнах глухих кустарей
Пламенело железо тугое;
Чтоб никто
не успел постареть,
Не увидев здесь время другое.
Камень камню кричит: помоги!
Сердце сердцу стучит:
осторожно!
Это время душой стереги,
Это время
легко и возможно.
Как скала, отколовшись куском,
Быль слаба в своем весе жестоком,
Только пни ее легким носком —
И она
загремит над потоком.
И к локтям отвернув рукава,
Ты берешься за общее дело,
Чтоб земля
под подошвой гудела,
Чтоб Кавказу — в веках ликовать.

1934

ВОДОПАД МУРУДЖУ

Женщина стоит у водопада.
Рада, рада,
Что ее с головы до пят
В блеск и в шум одел водопад.
Водопад — ее фаворит.
И она ему говорит:
«Драгоценный мой Мурýджу,
Хочешь, я от тебя рожу,
Я рожу от тебя девчонку,
Замечательную речонку,
Совершенно такую, как ты —
Неописанной красоты!»

1931

АБХАЗИЯ

Кавказ в стихах обхаживая,
Гляжусь в твои края,
Советская Абхазия,
Красавица моя.

Когда, гремя тоннелями,
Весь пар горам раздав,
Совсем осатанелыми
Слетают поезда.

И моря малахитового,
Тяжелый и простой,
Чуть гребни перекидывая,
Откроется простор.

И входит в сердце дрожь его,
И, высоту обсеяв,
Звезд живое крошево
Осыплет Туапсе.

И поезд ступит бережно,
Подобно босяку,
По краешку, по бережку,
Под Сочи на Сухум,—

Тогда глазам откроется,
Врагу не отдана,
Вся в зелени до пояса
Зарытая страна.

Не древние развалины,
Не плющ, не виадук —
Одно твое название
Захватывает дух.

Зеркалит небо синее
Тугую высоту,
Азалии, глицинии,
Магнолии — в цвету.

Обсвистана пернатыми
На разные лады,
Обвешана в гранатные
Тяжелые плоды,

Врагов опутав за ноги,
В ветрах затрепетав,
Отважной партизанкою
Глядишь из-за хребта.

С тобой, с такой красавицей,
Стихам не захромать!
Стремглав они бросаются
В разрыв твоих громад.

Они, тобой расцвечены,
Скользят по кручам троп —
Твой, шрамами иссеченный,
Губами тронуть лоб!

1934

ДАГЕСТАН

Смотри как туго стянут стан,
Смотри, как перекошен рот,
Вразлет Советский Дагестан
Крутые пропасти берет!

Смотри, как остры плечи гор,
Как бурка свесилась с плеча,
Он вьет коня во весь опор,
Его полет разгоряча.

Не чинодрал, не Синодал,
К скале прижавшись злой порой,
Он — чище демонов видал,
Когда в горах гулял Шкуро.

Но он узнал свою весну,
Когда — казалось — кончен свет.
И вдруг, как свет зари, блеснул
Ему во мгле аулсовет,

Скрипенье арб, рев буйволиц —
Летящим эхом далеко
В любую пропасть провались,
Наследье каменных веков!

А ты — на легкого коня,
Копыта не задев скалой,
Чтоб воздух пел, в ушах звеня,
Лети с откинутой полой.

Бока в рубцы! Скорей, скорей
В облет вперед ушедших стран.
С зари к заре! С зари к заре!
Вперед, Советский Дагестан!

1934

СВАНЕТИЯ

Там, где никнут травы, свянув,
У белков крутых гребней
Затаилась крепость сванов.
Что ты ведаешь о ней?

Бьет источник говорливый,
Оступается нога,
Над страною над орлиной
Блещут вечные снега.

За туманов занавеской,
Чуть треща, костры горят.
И сюда взойти советской
Власти не было преград.

И сюда она, вскарабкав
Красный шмат и вольный труд,
Где с нашествия арабов
Люди песнями живут.

Где, с долинами рассорясь,
Бросив общий рост,
Сваны верят только в зори
Да в движенье звезд,—

И сюда она взбежала,
На крутой отрог,
Как по лезвию кинжала,
Не поранив ног.

Потому что — грубой коже
Не страшна примерзлая трава.
Потому что — всюду стали вхожи
Новые слова!

1934

ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕЗГИНКА

За аулом далеко
Заржала кобыла...
— Расскажи нам, Шалико,
Что с тобою было.
От каких тяжелых дел,
не старея,
Молодым ты поседел,
спой скорее.
— Подымался в горы дым,
ночь — стыла,
Заезжали джигиты
белым — с тыла.
Потемнели звезды,
небеса пусты,
Над ущельем рос дым,
зашуршали кусты.
Я шепчу, я зову.
Тихи сакли.
Окружили наш аул
белых сабли.

Шашки светятся,
Сердце, молчи!
В свете месяца —
зубы волчьи.

За зарядом заряд...
Пики близки.

У меня в газырях —
                    наших списки.
Скачок в стремя!
Отпустил повода,
Шепчу в темя:
                — Выручай, Тахада!

Натянула повода,
Мундштук гложет,
Отвечает Тахада,
Моя лошадь:

— Дорогой мой товарищ,
Мне тебя жалко:
Сделаю, как говоришь,
Амханаго Шалико!

С копыт камни,
Горы мимо,
Вот уже там они —
В клочьях дыма.

— Ас-ас-ас-ас! —
                    визжат пули.
— Бац-бац-бац-бац —
                        шапку сдули.

Разметавши коня,
Черной птицей
Один на меня
Сбоку мчится.

На лету обнялись,
                    сшиблись топотом

И скатились
вниз,
и лежим оба там,
Туман в глазах,
сломал ногу...
Но не дышит казак:
слава богу!
Полз день, полз ночь —
горит рана.
Рано — поздно,
поздно — рано.
Ногу в листья обложив,
Вы меня вынесли.
В этой песне нету лжи,
Нету вымысла.
Грудь моя пораненная,
конца избежала...
Жареная баранина
на конце кинжала.
В кольцо, в кольцо!
Пики далеко!
Кацо, кацо, Нико, Шалико!

1935

ВЛАДИМИРСКИЙ ТРАКТ

1

Были:
каторга, цепи, централы,
бессрочная тьма...
Свод законов
Российской империи
дыбил тома.
В непролазных ночах
не мерещилось света
ни зги,
но сходились в кружки,
и печатались тайно листки
Проследили,
узнали,
забрали —
пропал без следа.
Лишь по тракту
железом легла
ледяная слюда.
Самодержцев зады
чередой восседали на трон,
бунтовщицкую тень
сторожил запотелый патрон.
И —
одних усмирял он,
другой —
от тоски умирал...
Не снижаясь числом,
на бушлатах
росли номера.

Заковали,
схватили,
угнали —
пропал без следа,
и уже —
не трудом одиночек долбилась руда.
Пусть плохая работа
и туп
обесславленный труд
в глубине
одичалых,
нависших отчаяньем груд.
Не на тройках в унос,
а разлавленной леей
потек
политических ссыльных
густой пешеходный поток.
Если б глушь была вдвое
и тишь была вдвое —
и та б
всколыхнулась,
устав провожать
за этапом этап.
Тяжко-тяжко
темнели
в кандальных руках пятаки,
тускло-тускло
звенели,
цепляясь,
конвоя штыки.
Заковали,
схватили,
угнали —
пропал без следа.

Нет!
Следы отпечатались
в сердце страны навсегда.
И,
затерян впотьмах
и зализан в шершавых ветрах,
белым шрамом кандальным
простерся
Владимирский
тракт.

2

Дует ветер сиверко́
из-за тех веков,
была жила Владимирка
до большевиков.
Летели тройки-турманы,
гудели провода,
темнели в небе тюрьмами
глухие города.
Сквозь сумрак азиатский —
иные времена
в шоссе Энтузиастов
разделана она.
Где прежде гнали Сталина
с этапа
на этап,
заводских труб расставлены
столбы твои,
Октябрь.
Была непроходимой
сейчас же под Москвой,

чернела на Владимир
безвыходной тоской.
Вилась ползучей гадиной
в дыму глухих костров,
а нынче —
в пух укутанной —
ведет на Автострой.

И дальше
до Урала,
где ворох света взвит,
дорога потеряла
свой прежний смысл и вид.
Не видеть ей бы блеска
такого на веку
до самого Кузнецка,
на самый на Якутск,
Сиял бы месяц слабо,
берложил бы медведь...
Где старая Челяба?—
Таежник, мне ответь?—
Где трубецкие тройки?
На этом пути
упорный рокот стройки
во всю Сибирь гудит.
Далекая дорога!
Великий долгий путь —
от царского острога
сюда перемахнуть!
Века перегоняя
с этапа на этап,
строительства огнями
ведет свой путь Октябрь.

1931

ПОСЛАНИЕ КРИТИКУ

Московские липы
                  цветут
на залитых жаром
                  бульварах...
Все лица
          на резком свету:
июль
     беспощаден
                и ярок.
Вчера
      налетел на меня
мой критик,
            обиженный мною.
Он,
   ножками
           зло семеня,
ко мне
       повернулся спиною.
Он в сторону
             прыгнул блохой,
и видимо было
              по роже —
какой
      человек я плохой,
какой
      человек он хороший!
О, злостью сведенный
                     педант,

надутый
обидой филистер,
взгляни без тоски
хоть сюда,
на
медом плывущие
листья.
Си́льней
этот запах втяни,—
густой
и счастливый,
как детство,—
и рифма
тебя осенит,
как первое слово
младенца.
И если
цветенья игра
тебя
обоймет
и затронет,—
клянусь —
не писать эпиграмм,
зарыться
в безмолвии хроник.
Я путь
уступаю тогда,
иди,
циркулярствуй
и шефствуй,
клянусь —
не бесславить
года

твоих
триумфаторских шествий.
Но нет!
Раздувается спесь
индючьего
сизого зоба;
и
песню —
какую ни спеть —
не слышит
глухая особа!
И вновь
разгораются прения:
он
скучно заспорит,
и тут,
хоть
и без его одобренья,
московские липы
цветут.

1930

ПОЕЗДКА В ГОСТИ К ХАРЬКОВСКИМ ВУЗОВЦАМ

Ставши поезду
на запятки,
месяц светит
во все лопатки!
Поезд поступью
ста чечоток
повторяет
тревожный счет их.
Время за полночь;
мне не спится,
тень фонарика
на лице.
Мысли кружатся,
точно спицы
в намотавшемся
колесе.
Что я еду?
Куда я еду,
блеском месяца
пережжен?
На какую
лечу победу,
на какой
напорюсь рожон?
Прежде ездили
в гости к тетям,
на побывку
да за рублем.

Кто ж скучает
и ждет нас, кто там
в строчку ласковую
влюблен?
Надрываясь
в килу и в грыжу,
в перебранках,
тоской изныв,
жду и чувствую,
жду и вижу
близость
выросшей новизны.
Пораскинулся
город новый
бывшим выговором
крестьян —
украинскою
мягкой мовой —
раскрываясь
и шелестя.
Нет, не с месяцем
мне сторговываться,
не в побранках
язык чесать,
и не тысячами
карбованцев
покупаются чудеса.
А послушавши
говор люда,
разве скажешь,
что это ложь?
Разве это
сплошное чудо

не до самых корней
поймешь?
Где он взял
и откуда вывез их,
в небо вставшие
вдруг стеной —
эти выкрики
и эти вывески —
эту гордость
своей страной!
Что ль,
в глазах у тебя троится,
что не видишь
родню свою:
поднимаются
украинцы
и в полроста еще
встают.
Разве сам ты
не рад-радешен,
как в расцветшем
весной лесу?
Как поднятые
в хлоп ладоши,
здесь —
подошвы тебя несут.
Если есть еще
что на свете,
что не купишь
любой ценой:
видеть вещи
в их новом свете,
полнить сердце
судьбой иной!

Поезд грякает,
рельсы узятся,
месяц пеплится,
ободнев;
еду к харьковцам,
еду к вузовцам,
к новолетней
моей родне.
И в какой бы
сухой суровости
ни лунило
моей седины,—
от этой радости,
от этой новости
меня ничто
не отъединит.

1929

РЕКВИЕМ

Если день смерк,
Если звук смолк,
Все ж бегут вверх
Соки сосновых смол.

С горем наперевес,
Горло бедой сжав,
Фабрик и деревень,
Заговори, шаг:

— Тяжек и глух гроб,
Скован и смят смех,
Низко пригнуть смогло
Горе к земле всех.

Если умолк один,
Даже и самый живой,
Тысячами родин,
Жизнь, отмсти за него.

С горем наперевес,
Зубы бедой сжав,
Фабрик и деревень,
Ширься, гуди, шаг:

— Стой, спекулянт-смерть,
Хриплый твой вой лжив,
Нашего дня не сметь
Трогать: он весь жив.

Ближе плечом к плечу!
Нищей ли широте,
Пасынкам ли лачуг
Жаться, осиротев?..

С горем наперевес,
Зубы тоской сжав,
Фабрик и деревень,
Ширься, тугой шаг:

— Станем на караул,
Чтоб не взошли враги
На самую
Дорогую
Из наших могил.

Если день смерк,
Если смех смолк,
Слушайте ход вверх
Жизнью гонимых смол.

С горем наперевес,
Зубы тоской сжав,
Фабрик и деревень,
Ширься, сплошной шаг.

1924

ПАМЯТИ КЛАВЫ

Она была
красавицей такою,
какой гордятся,
доводясь сродни.
Она была
веселою рекою,
в которой
отразились наши дни.
А если
над умолкнувшим потоком
Протянутая
засыхает ветвь,—
то как же
нам
в суровом и жестоком
молчаньи
не застыть,
не помертветь?
Нам
не истолковать ее превратно —
ее движений,
смеха,
ясных глаз,
как
и не возвратить
ее обратно,
утраченной,
украденной у нас.

Мы были ей
действительностью,
явью
и вместе с ней
умолкли,
отцвели
и отошли
к зеленому заглавью,
в прошедшую
историю земли.
Когда
чахотка
сдавит горло друга
Или
внезапный выстрел
прозвучит,
Тогда
земля косит
полета угол
и солнца
криво падают лучи.
И все,
что нам казалось раньше раем,
идет винтом,
как Данта
тусклый ад;
и мы
ступени эти измеряем,
тупея
от понесенных утрат.
Я не хочу спускаться
ниже,
ниже...

Я не хочу,
чтобы меня вели
туда,
где солнце, угасая,
лижет,
Как край котла,
кровавый бок земли.

1933

ЯСНОМУ СОКОЛУ

Холод!
Землю на части раскалывай,
на лету
слезу ледяни.
Нету нашего славного Чкалова
меж большой, боевой родни.
Ни сказать,
ни придумать тут нечего,
с утешеньем
притти не посметь:
загляделась на широкоплечего
темным глазом
старуха-смерть.
Сбила-смяла
с пути высокого,
повернуть не сумевши вспять
быстрокрылого зоркого сокола,—
уложила с собою спать!
Только зря
она к гробу тянется...
В нашей памяти — невредим —
все равно он ей не достанется,
не уступим,
не отдадим!
От дедов ко внукам передано
будет имя его на века:
жив народ!
И ему поведано
о бесстрашии большевика.

И опять и вновь обнаружиться
не забвенью,
не тьме теней,—
он отдал
боевое мужество
самой памятливой стране.
Нет, не смерть,
не глухая печать ее
крышку гроба за ним забьет —
молодое
страны объятие
навсегда его обоймет!

1933

СОДЕРЖАНИЕ

От автора 3

Весенняя песня 5
Песня сотен 8
Венгерская песнь 9
За отряд улетевших уток 10
Ушла от меня 11
Игра 12
Россия издали 14
Когда качнется 15
Тайга 16
В стоны стали 19
Первомайская песня 21
Ай добль — добль ю 23
Стачколомы 24
Работа 26
Кумач 27
Не за силу, не за качество 29
Заплыв 30
Курские края. (Вступление) 32
Мальчик большеголовый 34
Дом 36
Дед 41
Лирическое отступление 43
О памяти 55
Декабристы 58
Чернышевский 61
Метех 65
Русская сказка 69
Чудеса 74
Двое неизвестных 79
Песня о лыжном походе 81
Весна страны 85
Эстафета 89
Въезд 91
Северный Кавказ 94

Водопад Муруджу 97
Абхазия 98
Дагестан 100
Сванетия 102
Партизанская лезгинка 104
Владимирский тракт 107
Послание критику 111
Поездка в гости к харьковским вузовцам 114
Реквием 118
Памяти Клавы 120
Ясному соколу 123

ЧИТАТЕЛЬ!

Сообщите ваш отзыв об этой книге, указав ваш возраст, профессию и адрес,

Государственному издательству
«Художественная литература»
(Массовый сектор)

Москва, Центр, ул. 25 Октября, д. 10/2

40=00

Редактор В. Казин
Технический редактор О. Чеботарева
Корректор М. Зевин
Выпускающий Н Юкель

Сдано в набор 11/II 1939 г. Подписано к печати 25/II 1939 г. Зак. изд-ва № 14. Индекс Х-40. А90. Зак. тип. № 145. Формат бумаги 70×92 1/32 д 4 печ. л. 6,17 авт. л. Тираж 100 000 экз. Уполн. Главлита А—3106. Текст отпечатан на бумаге Краснокамского бумкомбината

Цена 60 коп.

17-я фабрика нац. книги Огиза РСФСР
треста „Полиграфкнига“. Москва,
Шлюзовая набережная, дом № 10.

60 коп.

ДЕШЕВАЯ БИБЛИОТЕКА